

РАЗРЫВ-ТРАВА



ПРОЛОГ

Скоро будет неделя, как слег Назар Иваныч. Знал: невозвратно ушла силушка, смерть стоит в изголовье и тихо ждет своего часа.

Лежал он на старой деревянной кровати, на той самой, где родился. На ней и отец помер, и дед...

В избе было холодно. Стекла обросли рыхлым льдом и почти не пропускали света, густой сумрак скрывал и передний угол, и куть. Холод вползал под овчинное одеяло, студил ослабевшее тело. Скрюченными пальцами Назар Иваныч держал одеяло у бороды, свитой в помело, и шарил взглядом в темноте переднего угла, там, где едва угадывалась божница, шевелил сухими губами: «Мать Пресвятая Богородица, заступись перед Всевышним за меня, грешного». А рядом со словами молитвы текли мысли суетные, земные и неизбывной тоской томили душу. Видел всю свою жизнь, и до того она маленькой, коротенькой оказалась, что всю ее охватывал одним взглядом — от смерти отца до этого часа.

Он рано помер, батька-то. Хворый был, надорвался в молодости, да так и зачах, будто колос, прихваченный ранними заморозками. Перед кончиной говорил малолетнему Назарке: «Прости, сынок, не сподобил Господь оделить тебя по-людски». От деда батьке досталось справное хозяйство — не удержал в немощных руках, растерял по крохе. Оставил после себя эту избу — старую, срубленную еще в то время, когда мужики пилы не знали, коровенку с телком оставил, кобылу охромевшую.

Другого бы с таким хозяйством нужда в бараний рог свернула, а он, Назар, ничего, сумел оклематься, стать на ноги крепко. Помог Господь. Баба попалась добрая — ловкая, сильная, на работу зарная. В супряге с ней тащил, бывало, и то, что двум мужикам не под силу. Жизнь стала налаживаться. Дом новый, пятистенный срубил, лошадей завел хороших, сбрую справил. Сыновья начали подрастать

и один по одному рядом подпрягаться. Четырех сынов принесла Наталья, дай ей Бог царство небесное...

А не вышло жизни сытой, беспечальной, знать не судил Господь. Началась война с германцем, потом ни с того ни с сего царя сковырнули. Царя не шибко жалели. Было у семейских давнее, застарелое нелюбие к царям державным. За веру старую, истинную натерпелись от них бог знает сколько. По первости по всей Расее-матушке, как псов бездомных, гоняли, канали-маяли со злобой неутолимой, а позднее — баба подлая, Катька-государша, вытурила их за студеное Байкал-море. Через всю землю русскую, через горы крутые, через леса дремучие гнала непокорные, Богу верные семьи... С того и — семейские. Посадила на земли скудные, суходольные — хошь живи, хошь помирай.

Выжили. Все горести-напасти вынесли, веры праведной не сменили, обычаев древних не порушили. На земле, по́том и слезами сдобренной, теперь растут хлеба богатые. Господь все видит, помог утвердиться, силу обрести. Может, за те муки, за те слезы и подсек царский корень.

И все бы ничего, да без царя осатанел народишко, взлютовал, как с цепи сорвался, и покатила по земле, закрутилась кровавая кутерьма. Не обошла стороной, не минула та кутерьма и деревню Тайшиху. С гоготом, свистом, стрельбой налетела казачня атамана Семенова и ну шастать по дворам, по амбарам, тащить все, что поглянется, а скажи слово поперек — шкуру плетью снимут.

У него в ту пору было три добрых коня. Казаки их оседлали, повели со двора, оставив взамен двух запаленных, загнанных коняг. Пробовал не давать — куда там! Отшвырнули с дороги, как мешок с мякиной, нагайкой по заду полоснули. От изгальства такого, от горя помутился у него рассудок. Кинулся на казаков с кирпичом в руках. Не успел ударить. Скрутили руки и так уделали, что полгода кровью харкал. С тех самых пор вся середка нездорова, отбили оканные. «Через них, душегубов, раньше срока в могилу схожу».

А помирать неохота. Еще бы жить да жить... Прадед Ероха до ста лет дотянул. Знаменитый человек был. Сказывают, мог на спор полведра самогона выпить и пройти, не отступаясь, по одной половице. В шестьдесят — быка кулаком сваливал, до глубокой старости в самые лютые морозы шапку не надевал. Дед в него. Был буен нравом, любил ввязываться в разные драки и свары. И голову прошибали, и ребра ломали, а все же восьмой десяток ему пошел, когда призвал

Господь. Батка выродился не таким могутным. Но, гордясь, что ерохинского корня, любил людей удивлять. Надорвался, поднимая просмоленный кряж... Помня об этом, он, Назар, силу свою зря не растрачивал, решил, что если ерохинского рода, то жить ему долго. Не пришлось... «А может, еще оклемаюсь, подымусь», — подумал с робкой надеждой.

У крыльца проскрипел снег. Кто-то подергал примерзшую дверь, не смог отворить, стукнул ногой. Дверь отскочила от косяков, распахнулась. В избу с беремцем дров вошла Настя, дочка Изота, соседа. Она затопила печь, принялась мыть посуду. Споро работала Настя, без шума и лишних разговоров. Хорошая девка выросла у Изота. Чем-то походит она на покойницу Наталью. Та в молодости была такой же полногрудой, краснощекой, так же вот, без звона и бряканья, умела обиходить дом. Берег ее, не лупил ремнем или вожжами, как другие мужики делают, а помирать приходится в пустом доме, без женского присмотра.

Казаки-то не над ним только изгалялись, редко какой двор обогнали, мало кого не тронули. Сильно озлобились мужики, сгуртовались в партизанский отряд. В тот отряд пошли и все его парни. Старшему, Макарге, шел тогда двадцать второй, младшему, Максюхе, — только пятнадцатый.

Поципали мужики казачню подходяще, а те японцев, басурман коротконогих, привели. Запылала Тайшиха с обоих концов. Назар успел со скотом в лесу спрятаться, но пятистенки новые со всем накопленным добром, амбар с хлебушком сгорели. И Наталья сгорела. Не могла добром попуститься, спастись в огонь кинулась...

Старший, Макар, с войны не вернулся, убили его японцы под Зардамой. Игнат, Корнюха и Макся весь восток прошли, столкнули японцев в море, вернулись домой, а у него все хозяйство в разоре. Один из семеновских коней сразу же издох, другой еле ноги таскает — что на нем наработаешь? Парней женить, выделять надо — что выделишь? Помытарились они без малого четыре года, прибытков никаких, на злосчастье, неурожаи за неурожаем случались в те годы, совсем разорились. Отправил их на отхожий промысел, копейку добывать...

От размышлений этих отвлекла Назара Настя. Чай заварила, подала стакан на блюде. Стакан в его руках ходуном ходил, чай расплескивался на постель. Давно ли ворочал этими руками пятипудовые мешки... «Господи, за что покарал меня?» Из своих рук, как маленького, Настя напоила его. И кашей с ложечки накормила.

В избе стало тепло, и он столкнулся с волосатой, словно бы замше-лой груди одеяло, повернулся на бок. Лед на окошках высветлился, с подоконников на пол потекла вода.

— Дядя Назар, я сон видела: навсегда остались ребята в горо-де. — Настя глядела на него с настороженным ожиданием.

— Пустое... Куда денутся от хлеборобства, от земли?

О парнях его каждый день разговоры. Оба ждут их не дождутся. Настюха невестится, хотя и не хочет вида показать. Кто ей пригля-нулся — Игнат или Корнюха? Макся-то не подходит, молодой еще, и нельзя ему раньше старших жениться. Приедут — разберутся сами. Только бы не избаловались, не запутались в сетях нечестивого. Жизнь-то вон какая вертячая, беспутная стала, непотребства в ней не менее, чем гнили в болоте. В самое нутро семейщины змеей впол-зает богопротивная новина, подтачивает стародавние устои. Настю-хин брат, Лазурька, привез с войны бабу стриженую. Стыда не ведая, ходит она в мужних штанах, перед образом Господним крестом себя не осеняет. Сам Лазурька табачище жгет. Бедный Изот принужден кормить сына и невестку из особой посуды, вроде басурманов каких. Случись такое в старые времена — Лазурьке бы ноги повыдергали, а его супружницу в речке, как поганую суку, утопили. Теперь мужики молчат, будто ничего не замечают, а недавно его к власти допустили, председателем сделали.

Когда Настя вышла кормить скотину, перекрестился на иконы, хриплым шепотом попросил:

— Господи, не дай затвердиться окаянству, опали гневом своим праведным семя неверья и разврата.

В посветлевшем сумраке переднего угла тускло поблескивала позолота старых икон, но ликов святых разглядеть было невозмож-но, и от этого тяжесть на душе Назара Иваныча увеличивалась. На-до было затеплить перед божницей свечу, но самому не добраться до переднего угла, а Настя, должно, до вечера не придет.

Но она пришла раньше. Не успев закрыть за собой дверь, закри-чала:

— Приехали! К Тараске подвернули! Свои манатки снимает с во-за Тарас.

Он хотел подняться, но не смог. Настя подскочила к нему, усади-ла. В углах его глаз копились слезы и сползали вниз по бороздам морщин.

— Поддай мне, доченька, рубаху. Там она...

Из сундука Настя достала косоворотку красного сатина, надела на него, застегнула все пуговицы неверными, торопливыми пальцами.

Взвизгнули ворота, во дворе послышались осипшие, простуженные голоса. Настя припала к окошку, продула во льду кружок.

— Распрягают... Ой, господи, идут! — она бросилась в куть, вернулась, одернула курмушку, поправила платок и остановилась у кровати.

Сидеть Назару Иванычу было трудно, он быстро изнемог. Дверь с белыми полосками инея в щелях заколыхалась, словно отражение на беспокойной воде, поплыла. Но он собрал все силы, чтобы не упасть: ребят надо встретить, как подобает отцу.

Парни вошли в избу, стуча мерзлыми обутками, остановились у порога, сдернули шапки, чинно, неспешно перекрестились. От одинаковых дубленых полушубков сизоватым дымком струился морозный воздух. Эх и парни же у него! На плечах Игната полушубок чуть не лопается, широк в кости, матер, весь в ерохинскую родову. И борода у него совком, как у всех ерохинских. А Корнейка-то как раздобрел, он будет, пожалуй что, помогутнее Игната. О Максюхе этого не скажешь. В росте не прибавил, не окреп в кости. Война его, зеленого, замотала, не дала вырасти.

— Раздевайтесь. Настюша, потчуй чем-нибудь. — Он лег. На землистом лице расправились морщины; в глазах, старчески линялых, затеплилась голубизна.

Средний, Корнюха, скинул полушубок, повесил на гвоздь, обернулся. Назар Иваныч обомлел. Сразу-то, из-за поднятого воротника полушубка, он и не заметил, что подбородок у Корнюхи голый, как бабья грудь. И у Макси тоже... Господи боже мой!

— Поди сюда, Корнейка!

— Чего, батя? — Сын наклонился над ним, опираясь руками о край кровати. В синих глазах — тревога и жалость.

— Где твоя борода?

— Ах это... — Виногато моргнув, Корнюха провел ладонью по подбородку. — Неловко, батя, с бородой, просмеивают.

— Нечестивцы! — слабой костистой рукой ткнул ему в нос. — Игнат!.. Ты куда смотрел?

— Я им говорил...

— Говорил! Ишь что — говорил! По сопатке бить надо! По харе бесстыжей!..

Корнюха сделался красным. В смущении теребил он чуб и переводил взгляд с братьев на Настю. Бубнил простуженное:

— Каюсь, батя. Не буду больше. Думал: какая беда...

— Замолкни, окаянный! — голос у Назара Ивановича осип, будто ему кто горло сдавил. — Деда наши веру через все пронесли чистой... незапятнанной. Этим... род свой сохранили. В ней сила... крепость. Поручите — не защитит Господь...

Говорил он все тише, задыхался. Корнюха, жалея его, попросил:

— Помолчи, батя, передохни.

— Пропадете! — Назар Иваныч приподнялся на локте. — Захлестнет, изничтожит вас злоба и низость. Дети... ваши... погрязнут в слепости духовной... В грехах тяжких. Род наш рассосется, сгинет в неверии. Блюдайте старину, блюдайте! — Он задохнулся, упал на подушку, сверкнув белками глаз.

Макся зачерпнул в кадучке воды, поднес отцу. Лязгнув зубами по железу ковша, Назар Иваныч сделал глоток, затих. Корявые пальцы его, похожие на корни старого кедра, слабо мяли складки одеяла. Под ногтями копилась, густела землистая чернота.

Все молчали. В тишине шелестел лишь судорожный, испуганный шепот Насти:

— Господи... Сусе Христе...

Руки Назара Иваныча дернулись и замерли. Еле слышно он проговорил:

— Ничего не вижу. Темно. Душно. — Голова сползла с подушки, запрокинулась, торчком встала борода, нижняя губа отвалилась, обнажив желтые крупные зубы.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Поземка слизывала с могильных холмиков снег и белыми космами стлалась по полю. Почерневшие кресты стояли вкривь и вкось, напоминая обгорелые, мертвые деревья. Темный, как все другие, со снегом, набитым в щели, стоял крест и на могиле матери. Когда ребята вернулись с войны, отец приводил их сюда.

Они нарвали голубых подснежников, положили на холмик. Могли ли думать тогда, что так скоро придется копать рядом еще одну могилу... Игнат вздохнул, глянул вниз, на село, залегшее в неглубокой лощине. И там мела, крутила, гнала потоки снега поземка. Дома, казалось, плыли в белой кипени и никак не могли уплыть от этой сопки с черными крестами.

Камнем звенела под ломом мерзлая земля, от нее откалывались мелкие кусочки, сыпались под ноги. За спиной скреб лопатой Корнюха. У края ямы, спиной к ветру, сидели на корточках Тараска Акинфеев и Лазарь Изотыч, или попросту Лазурька. Тараска хлопал рукавицами, согреваясь, и, как всегда, языком трепал, балаболит о чем-то, скаля белые зубы. Лицо у Тараски круглое, пухлое и красное, будто снегом натертое, глазки крошечные, усмешливые, с простоватой хитрецей. Игнат прислушался к разговору.

— ...гладкая, круглая, верткая, бравая, словом, бабенка. Домик свой, с другой стороны, и машина швейная, и копейка водится. А я ей все равно — нет! Не могу, говорю. Гонять на базар каждый божий день — раз, в тарелочках кормиться — два. Тоска, не жизнь. Дома у меня кладовая под боком. Захожу, отсекаю полпуда мяса, заваливаю в чугунок. Сварилось, за один присест заматаю. Дышать тяжело, а на душе — теплынь, благодать...

Игнат с силой ударил ломом. Брехун, ботало. О жратве да о женитьбе, других разговоров у него нету. За годы, что с ним на заработках были, надоел хуже не знаю кого. Хы... «Гладкая», «бравая».

Нашел гладкую! Плоская, как стиральная доска, во рту половины зубов нет. Глядеть на такую и то лихо, а он... Ну ладно, брешу, если охота, но найди для этого другое место. Тварь ты какая или человек?

— ...просится. А я ей: ты что, ошалела? — ввинчивается в уши голосок Тараски. — Шитьем у нас не прокормишься. В поле тебе нельзя: красоту попортишь — ты без выгоды, и я в убытке.

Лазурька усмехался, косил на Тараску недоверчивым глазом. Игнат разогнулся, хмуро крикнул:

— Будет вам базарить! — Протянул лом Тараске. — На, подолби. Лом перехватил Лазурька.

— Погреться надо. — Он скатился в яму, стащив полами полусубка комья земли и снега.

Чтобы не привязался Тараска со своей болтовней, Игнат пошел меж могилочек. Ветер трепал бороду, заворачивал воротник, хлестал по голенищам черствой снежной крупой. За холмиками снег закручивался, оседал в сугробы, и они горбились точно так же, как могилы. Сразу не различишь, где просто сугроб, разве что по крестам, но и они не везде уцелели. Многие свалились, лежат тут же, и нет до них никому дела. За кладбищем косогор без снега и травы, гладкий, обструганный ветрами, покато сбегал к пряслам огородов и гумен. Щербнистая земля была нага и мертва, по ней без задержки мчались жидкие ручейки поземки. Над некоторыми домами Тайшихи поднимался дым, ветер заворачивал его и растягивал вдоль улиц. Избы с гривой дыма напоминали Игнату паровозы, бегущие в заснеженную даль. И он с горечью подумал, что жизнь так же вот обманчива; кажется, что она мчится на всех парах к новым станциям, оглянувшись — стоит на одном месте, как эти избы, придавленные снегом.

По улице, путаясь в широченном сарафане, пробежала бабенка. С костылем проковылял старик. Рысью промчался мальчонка с ведром. У всех какие-то дела, заботы, хлопоты, все суетятся, мечутся, а того не понимают, что только эта вот полоска земли, голой и убогой, отделяет жилища живых от последнего пристанища мертвых.

В приземистых избах, за бревенчатыми стенами — плачут и смеются, любят и ненавидят. А зачем? Никто не скажет.

Зачем? Первый раз задал себе этот вопрос Игнат много лет назад в такой же вот выюжный день, когда стоял на коленях перед обезображенным телом братухи Макара. Макся и Корней были тогда в другом отряде, они не видели брата мертвым. Ни им, ни батьке он ничего не рассказывал. И не смог бы рассказать...

Когда японцев прижали у Зардамы, Макара снарядили в разведку. Ушел и не вернулся. Через три дня нашли его в сугробе. Мака-

ра нельзя было узнать. Ему выкрутили все пальцы, сорвали ногти, сожгли волосы на голове. Замученных видел Игнат и раньше. Но то были люди, которых он знал совсем мало или вовсе не знал. А это братка, мягкий, жалостливый. За что же его так? Какое остервенелое сердце надо было иметь, чтобы дойти до такого измывательства над человеком. Звериная безжалостность ледяным сквозняком прохватила душу Игната. С того самого дня он с подозрительным вниманием приглядывался к людям. Никогда ничем нельзя оправдать убийства человека человеком, а убивают! Почему? За что? Для чего? Сказывают, корень всего звериного в человеке — ненасытная жадность. Ему все время мало того, что есть, зависть червем ест его душу. Он не гнушается ни воровства, ни грабежа. Но кому охота быть ограбленным? Схлестываются две силы, и вспенивается, бьет через край ненависть, и рвут друг другу горло, не зная милосердия, безумея от пролитой крови. Так говорят про это умные люди. Наверно, они правильно говорят. Но почему люди не поймут одного: как бы они ни тужились стать богаче, сильнее, смерть всех выравняет. От каждого останется только крест да бугорок земли. И то не навечно. Крест рухнет, сгниет, рассыплется в труху, дожди и ветры сровняют с землей могильный бугорок.

— Игнат, иди, взгляни, — позвал его Корнюха.

Он подошел к могиле, заглянул в нее, махнул рукой — хватит.

— Тогда пошли. — Лазурька оперся руками о край ямы, одним махом вынес некрупное, подбористое тело свое, подал руку Тараске. — И тяжел же ты.

— А что же, тело у меня есть! — Тараска с пыхтением выбрался наверх.

— Брюхо у тебя богатое. Не брюхо, а кадушка. — Лазурька забросил на плечо лом, стал осторожно спускаться с косогора, за ним, семена короткими ногами, покатился Тараска. Корнюха, еще горячий от работы, с заиндевелым чубом, в расстегнутом на груди полушубке остановился напротив Игната, хотел что-то сказать, но тут же передумал, быстро пошел вниз.

Гумнами, по сугробам прошли в свой двор. Под ветхим сараем белела грудa крупной щепы. Тут мужики вытесывали гроб из домовины. Эта домовина — толстое ошкуренное бревно — лежала под сараем с тех пор, как Игнат помнит себя. По старинному обычаю, у каждого хозяина хранится такая домовина. У него может не быть ни коня, ни коровы, но домовина есть.

В избе было жарко, душно. Покойник лежал под образами. Чадили восковые свечи, бросая на его лицо неровный желтый свет.

Полукругом теснились старики и, задрвав нечесанные бороды, отпевали покойника. Из приглушенных, недружных голосов выпирал бас уставщика Ферапонта.

— Да святится имя твое, да придет царствие твое, — старательно вытягивал Ферапонт и украдкой сдувал с сизого, пришлепнутого носа капли пота. От усердия он разопрел, рубаха липла к круглой спине, взмокшая борода висела сосульками.

Когда стали выносить гроб, бабы, до того молчавшие, разом заголосили, запричитали пронзительно и тоскливо. Корнюха засопел, всхлипнул, закусил губу, низко наклонил голову. Игнат до боли сжал челюсти. В истошном завывании баб ему чувалось лицемерие. Не горе, не страх перед смертью заставляет их выть, а обычай, привычка. Пойми они хоть на минуту, что такое жизнь и смерть, от ужаса выльпили бы глаза и подавились криком.

Ветер стал еще сильнее, злее. Он обжигал лицо, прохватывая сквозь полушубок. На ветру бабы перестали плакать. По улице прошли торопливо, отворачиваясь от ветра. Обогнав процессию, ребяташки первыми вскарабкались на косогор, столпились у могилы.

— Кыш-ш отседова, пострелята! — замахал на них руками Ферапонт.

На пеньковых вожжах гроб опустили в яму, и бабы опять запричитали, но уже не так голосисто, как дома. Мужики, намерзшись, живой рукой столкнули землю в могилу, поставили крест и заспешили в тепло. Игнату было жалко этих суетливых людей, себя, батьку, но жалость не рвалась наружу со слезами, она непомерной тягостью наваливалась на сердце. Рядом всхлипывал, вытирал щеки рукавицей Макся. Корней держал в руках шапку, и русый чуб трепыхался на ветру.

Спускаясь с косогора, Игнат оглянулся. Свежий холмик заносило снежком, и он становился неотличимым от других.

II

В душе Корнюхи недолго было темно и горько. За годы войны и скитаний в поисках заработков он успел отвыкнуть от батьки и теперь без усилий забывал его. Тем более что горевать особенно было некогда: все хозяйство распоручено, коровенка ночует в дырявом сарае, дров — ни полена, батькин конь совсем ослаб. Ладно, что они купили в городе кобыленку, а то бы вовсе замаялись. На Саврасуху и упряжь с телегой потратили без малого все свои заработки. На какие капиталы теперь подниматься?

Невеселый ходил Корнюха по засугробленному двору, раскачивал руками обветшалые заборы и злился неизвестно на кого.

Надо было что-то придумать, а старшой, Игнат, все молчит, о том, как дальше жить, похоже, не очень печалится. И раньше он удалством да бойкостью не отличался, а теперь, после похорон отца, до того тугим стал, что прошибить его ничем невозможно. На одном стоит крепко — порядок дома держит по старинке, как при родителях было. На чужой-то стороне он, Корнюха, и Максимка тоже не только бороды брили, но и табак курить навалились. Там Игнат не перечил, а после похорон достал мешочек с махоркой, вытряхнул в печку на горячие угли.

Тогда ему Корнюха ничего не сказал, смолчал. Но недавно не стерпел... Вернулся из лесу, куда за дровами ездил, проголодался и сел за стол, позабыв сотворить молитву. Игнат поднялся на него, закричал:

— Куда, бесстыдник? А ну вылазь!..

Корнюха, неловко усмехаясь, вылез, перекрестился, снова сел за стол, угрюмо проговорил:

— Ты, братка, по божественной части скоро самого Ферапонта переплюнешь. А какая польза от твоей святости? Одно знаешь — молитвы шептать. Дошепчешь, скоро жрать будет нечего!

Чудно как-то, будто на дурачка или малолетка, глянул на него Игнат, с осуждением качнул головой. Корнюху это и вовсе обозлило, он бы наговорил ему черт-те чего, да помешал Макся. Насмешливо улыбаясь, младший сказал вроде ни с того ни с сего:

— Тараска опять обожрался. Помогал колоть кому-то кабана и так свежинины натрескался, что неделю брюхом мается. С лица весь сменился.

Макся, он завсе так, придумает что-нибудь и брякнет под руку. Спорить после этого уже не хочется. Главное, бухнет о чем-то совсем постороннем, а подумаешь, вроде бы и тебя задевает. Где, язвы его, обучился?

Вечером собрались почесать языки все тот же Тараска (живой и здоровый, черта ли ему сделается), Лазурька и Лучка Богомазов. Лучка этот — наипервейший друг Максьюхи, хотя и старше его, кажись, лет на пять. В партизанах Лучка был пулеметчиком, а Максьюха у него вторым номером. Желторотых япошек и белой сволочи немало они положили.

В черненой борчатке и белой мерлушковой шапке, форсисто сломанной на затылке, Лучка теперь мало походил на лихого партизанского пулеметчика. Во всей его ладной фигуре, в лице с тонким

носом и короткой кучерявой бородкой появилась медлительная степенность. А когда пришел Лучка с германской в задрипанной шинелишке, был худой, весь какой-то изверченный, издерганный. Теперь-то ему дергаться неотчего, конечно. Повезло парню. Ушел в зятья к Тришке Толстоногому, а у того хозяйство — дай бог любому. Сволокут Тришку на косогор — все Лучке достанется.

Который уже вечер подряд вели разговоры об одном и том же: сильно обеднел мужик за последние годы, редко кто живет в достатке. Земли пустоует много, пахать не на чем: коней война ухайдакала.

— А как на это власть смотрит? — спросил Макся у Лазурьки. — Мы, к примеру, воевали за нее — должна как-то подмогнуть?

— Должна, — согласился Лазурька. — А чем? Она навряд нас с вами: за что нихвати — в люди кати. Все разорено, побито, пограблено.

Корнюхе такой ответ не по нутру.

— За что же мы воевали, Лазарь?

— Как за что? — На чернявом, цыгановатом лице Лазурьки удивление. — За волю воевали.

— Ха! За волю... Что мне с твоей воли — в соху ее не запряжешь! — Корнюха слегка стукнул кулаком по столу. — Воли и раньше хватало.

— А что, верно... — поддержал его Лучка. — Земли в Сибири допмна, помещики на шее не сидели. За что же я воевать шел? Жизнь нам сулили новую, совсем не похожую на ту, прежнюю. И ничего пока нету. Как и раньше, пристают с ножом к горлу: дай хлеба. Выходит, власть наша новая, а песня у нее старая: дай, дай, дай!

— Почему бы и не дать? — прищурился Лазурька. — Ты голодный? Нет. Почему же другие должны голодать? Одному жирные щи, другому кашицу из отрубей? За то мы, между прочим, и воевали, чтобы у всех на столе щи были. А ты чего хочешь?

— Не об этом разговор, Лазарь, — мягко, раздумчиво возразил Лучка. — Понять мне надо, куда, в какую сторону жизнь идет, что она мне подготавливает. Про ранешнюю жизнь я только заикнулся, а досказать не досказал. Это верно, что жили раньше почти все в сытости. Но разве только для этого рожден человек, чтобы на пузо свое век работать? Сколько хорошего есть на свете, мужики, чего мы никогда не увидим и не узнаем. Во многих местах мне довелось побывать, разное повидать. Какие на земле города понастроены, какие на ней сады растут. А мы... С малолетства до старости гнемся за сохой. Одна у нас радость — хлобыстнешь в праздник самогона...

— Чего же не остался в тех городах? — засмеялся Тараска.

— Ничего ты не понимаешь! — Лучка поморщился.

— На днях ночевал у меня товарищ Петров из волости, про то же мы с ним говорили. Сказывал он: советская власть все перевернет, перепашет, ничего старого не оставит. — Шаркая по полу, присыпанному жженым песком, Лазурька прошелся взад-вперед, остановился, подпер плечом чувал печки. — Коммуны везде сгарнизуют. В коммуне все будет общим: кони, коровенки, курицы — вся живность. И кормежка из общего котла.

— Добро, а? — Макся толкнул в бок Тараску. — От коммуны, я смеаю, самая большая выгода тебе будет.

Тараска благодушно улыбался, сыто жмурил хитроватые глаза.

— А как с верой? — спросил Игнат. Он все время молчал, внимательно слушал, крепко сжав в кулаке бороду.

— С верой?

— Ага, с верой, Лазарь Изотыч. С устоями старинными.

— Не знаю, — честно сказал Лазурька и там же, у печки, сел на лавку-ленивку. Свет лампы-коптюхи едва достигал до него, лицо Лазурьки белело пятном, черные глаза беспокойно мерцали. — Новый дом на старый оклад никто не ставит — так разумею. А ты чего, вроде как жалеешь устои старины?

— Нет, радуюсь, — буркнул Игнат и сердито дернул бороду.

— Он боится: зачнут мужики табак курить напропалую и весь воздух спортят, — опять засмеялся Тараска.

— Не клокочи! — с досадой сказал Корнюха. — Неужели будет-таки коммуния? Еще когда воевали, нам про нее талдычили. Мужики не верили, посмеивались.

— Смеяться не над чем, — сказал из темноты Лазурька.

— Как же не над чем? Нас вот три брата, и все разные. А что будет в коммунии? Максюха верно подметил, у кого брюхо большое, тому — лафа. Получится: когда у котла — равняются на самого обжористого, когда работают — на самого ленивого.

— В партизанах, припомни, на самых трусливых никто не равнялся и еду делили как полагается.

— Сравнил кочергу с оглоблей! Там другое, — мотнул Корнюха чубом. — Там на время, тут на всю жизнь. А еще ребятишки. Скажем, у тебя семья — сам да баба, а Тараска каждый год по ребятенку слепливает. И будешь ты на Тараскину шпану хребет ломать.

— Ну и что? Зато, когда состарюсь, его дети меня прокормят. Вся деревня как одна семья будет.

— Пустое говоришь, Лазарь, пустое, — вздохнул Игнат. — Уж на что крепко держали в руках семейщину уставщики, а и то, едва столкнулась она с безверием, понесла к себе в дом всякую нечисть. А что будет, когда старые устои под корень подсекуте? Откачнете человека от Бога — все кувырком пойдет.

— Я бы, к примеру, не стал о старых устоях много думать. Пользы от них немного, а вот тут, — Лучка притронулся к вязаному шарфу, намотанному на шею, — они хомутом давят.

Корнюху тревожило совсем другое. Если Лазурька не брешет, если коммунию установят, нечего пуп надрывать, поднимая хозяйство. Все уйдет на общий двор. А с другой стороны, сам Лазурька в точности не знает, какая она будет, коммуния. Может, придется бежать от нее без оглядки.

Когда мужики стали расходиться, Корнюха придержал у дверей Лучку:

— Тебе работник не понадобится?

— А что?

— Да что... На одной кобыленке втроем далеко не ускачешь. Придется нам с Максьюхой в работники подаваться.

— Не знаю. — Лучка сдвинул на брови папаху. — Поговорю с тестем. Одного-то, может, и возьмем, а двоих — нет: сейчас, брат, за работников прижимают.

Закрывая за Лучкой дверь, Корнюха спохватился: с Игнатом не перетолковал, а в работники нанимается — неладно это, в доме должен старший распоряжаться. Хотел тут же и поговорить обо всем, но Игнат сидел за столом, опустил лохматую голову, отрешенный от всего, увязший в своих думах, и Корнюха понял: ничего он сейчас не присоветует.

Позднее, мало-помалу, неприметно для себя Корнюха стал в доме за главного. Надо что сделать по хозяйству — сам, не спрашивая Игната, решает и делает. Игнат, похоже, не замечал этого, а может, и замечал, да не хотел мешать Корнюхе налаживать хозяйство.

Но, как и раньше, Игнат заставлял их отбивать поклоны, запрещал есть скромное в постные дни, не отпускал на посиделки. Вечерами, когда к ним никто не приходил, Корнюха и Макся томилась от скуки и наедине зло подшучивали над неожиданной суровостью брата. Строгие правила семейщины казались им дикими и глупыми, и покорялись они старшему лишь из уважения к памяти отца.

Вскоре Макся нанялся в работники к Лучкиному тестю и уехал на заимку. Без него Корнюха совсем было заплесневел, но тут случилось то, чего он никак не ожидал.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗРЫВ-ТРАВА

Пролог	7
Часть первая	13
Часть вторая	161
Часть третья	326
Эпилог	473
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ	483